**Ливия ЗВОННИКОВА Петербургский Иов**

**Опубликовано в журнале:**[**«Октябрь» 2012, №6**](http://magazines.russ.ru/october/2012/6/)

Ливия Звонникова родилась во Владикавказе, живет в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа. Автор книги “Кинематографический потенциал в творчестве Чехова”, “Заколдованный круг (о прозе Чехова)” и других, а также ряда статей о творчестве Пушкина и Чехова.

**Ливия ЗВОННИКОВА**

 **Петербургский Иов**

“Медному всаднику” А.С. Пушкина посвящено немало исследований. Но странное дело: большинство их авторов до сих пор находятся под влиянием Белинского, и мысль их вращается вокруг высказанного им почти двести лет назад. Слов нет, Виссарион Григорьевич был великий человек, но не будем забывать, что при этом он был человеком страстным. А страсть у него была одна – борьба с русским самодержавием, в котором для него воплотилось все зло мира. Не забудем, что Белинский был одним из первых русских интеллигентов, которые считали своим долгом быть в оппозиции к государству. И, естественно, ему очень хотелось убедить своих читателей, что “властители дум”, а в их числе были и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, – его единомышленники. Современные литературоведы, как будто завороженные, повторяют его заклинания о “маленьком человеке”, ставшем невинной жертвой русского самодержавия.

Приведу достаточно свежий пример. Писатель Д. Быков в своей публицистической статье использует образы поэмы для доказательства от века напряженных отношений российского государства с обывателем: “Из такого устройства государства вытекает и соответствующая структура социума: точней всего оно описано, конечно, у Пушкина в “Медном всаднике”. Есть гранитный город, надстроенный над болотом, и есть само это болото или, если так комплиментарнее, Солярис. Они соприкасаются, но в режиме диалога не функционируют: контакты их сводятся к давлению (со стороны гранита) и периодическим возмущениям (со стороны болота). Достается при этом, как правило, не власти, а обывателю, тому самому, который ни при чем ни сном ни духом. Объяснить граниту, что не надо так давить, невозможно; в результате периодически случаются наводнения, революционные вспышки, заканчивающиеся, как всегда, ничем” (статья “На что это похоже?” в журнале “Афиша”, 27 февраля – 11 марта 2012 года).

Однако надо иметь в виду, что, начиная с 20-х годов Х1Х века, взгляд самого Пушкина на взаимоотношения человека и истории были иными, чем у его исследователей. Пушкин полагал, что не история виновата в бедах русского человека, не цари и не погода. Виноват сам человек. Для Пушкина у Истории нет “предназначенности”. Нет потому, что человеку дана *свобода выбора*. Именно этот *выбор* и определяет *судьбу историческую*. Об этом шутливая, но очень важная для понимания исторических воззрений Пушкина “Заметка о поэме “Граф Нулин””, в которой он пишет о том, как одна “дамская пощечина” могла бы изменить ход мировой истории. О том же и трагедия “Борис Годунов”. Останься Отрепьев в монастыре (а это вполне было возможно), и история России пошла бы совсем “другим путем”. Для Пушкина у истории есть “сослагательное наклонение”. Он писал: *“об истории не говорите: иначе не могло быть”*.

“Вступление” к поэме “Медный всадник” как будто бы не связано с ее основным содержанием. Но связь есть, и очень крепкая. Не случайно поэма открывается не именем Петра, а местоимением “он”: “*На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн…”.* Это местоимение для многих исследователей стало поводом для самых фантастических предположений. Мы же полагаем, что “он”, вместо имени, Пушкин поставил потому что имел в виду не “бога, не царя и не героя”, но *человека*, сумевшего стать “мощным властелином” судьбы.

Герой поэмы Евгений – обыкновенный человек, но интересен Пушкину и как русский образованный дворянин. Не “ничтожный герой”, “опустившийся до мещанского уровня”, как оценивают пушкинисты героя “Медного всадника” с легкой руки Белинского, но человек пушкинского круга, о котором автор мог бы сказать то же, что говорил когда-то об Онегине – “добрый мой приятель”. При этом напомним, что само слово “мещанин” в словаре Пушкина было лишено той унизительной оценки, которую оно приобрело в ХХ веке. Поэт с гордостью заявлял: “*Я сам – хоть в книжках и словесно Собратья надо мной трунят – Я мещанин, как вам известно, И в этом смысле демократ*”.

Итак, Евгений – обыкновенный человек, оказавшийся в экстремальной ситуации. В связи с темой Потопа, посланного человеку, как известно, в наказание за грехи, представляется интересной и неожиданной статья А. Тархова “Повесть о “Петербургском Иове”” (“Наука и религия”, 1977, №2). Основываясь на сообщении П.В. Киреевского (в письме Языкову в октябре 1832 года) о том, что Пушкин “учится по-еврейски с намерением переводить Иова…”, и не найдя среди бумаг Пушкина “следов собственно перевода”, Тархов предположил, что “образы “Книги Иова” нашли новую жизнь в поэме “Медный всадник””.

Эта мысль исследователя кажется весьма плодотворной: вполне возможно, что в процессе работы желание перевести “Книгу Иова” сменилось у поэта желанием создать собственную интерпретацию библейской книги на материале современной ему истории, тем более что в 1824 году в Петербурге случилось наводнение, которое современники и сам Пушкин оценивали как Потоп – как Божие наказание. Получив от брата известие о наводнении, Пушкин пишет ему в ответ: “Что это у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу!”. И поэму “Медный всадник” друзья поэта восприняли как поэму о Потопе. А.И. Тургенев 15 октября 1834 года записывает у себя в Дневнике: “*Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о петербургском потопе. Превосходно*…”. Действительно Потоп описан “превосходно”. Современный читатель, который воочию наблюдал ужас цунами, произошедший в Индонезии, не может не подивиться подлинности картины Потопа, созданной воображением великого поэта. Перед нами настоящий Апокалипсис: все знаки его явлены – “тритон”, “зверь мраморный”, Петербург по аналогии с Акрополем именуется Петрополем.

При изложении своей в целом интересной версии Тархов, однако, прибегает к таким аргументам, с которыми согласиться нельзя. Так, он пишет: “”ситуацию Иова” можно вполне отчетливо выявить в “Медном всаднике”, где центральная проблематика определена взаимоотношением несчастного петербуржца Евгения и некоего “высшего начала” – Основателя Петербурга”. Но “Основателя Петербурга”, даже признавая его величие, неправомерно отождествлять с “высшим началом”, а героя “Медного всадника” – с Иовом, которого С. Аверинцев называл образцом “”естественной” праведности”, чего нельзя сказать о герое “Медного всадника”. Да, герой поэмы как будто бы никого не убил, никого не соблазнил. Все, писавшие о нем, сострадали ему. Сострадает Евгению и Пушкин. Однако, в отличие от исследователей, он не видит случайности в трагедии, произошедшей с героем.

Дворянин Евгений недостаточно уважает своих предков. Он, как сообщает автор, “…*не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине”*. Историческое беспамятство – родовой грех русского дворянства. Как напишет герой из неоконченного Пушкиным “Романа в письмах” (а мысли героя, судя по статьям Пушкина о русском дворянстве, разделял и сам писатель), он “*без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат”*. Понятно, что эти горькие слова продиктованы были болью за будущее отечества: поэт, как никто, понимал, что только “*дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим*”. За четыре года до “Медного всадника” Пушкин создает неоконченное, но очень важное для него стихотворение – “Два чувства дивно близки нам…”. В ранних вариантах этого стихотворения поэт связывает родовую гордость, любовь к ушедшим поколениям с чувством собственного достоинства: “*На них основано от века По воле Бога самого Самостоянье человека, Залог величия его*…”. Пренебрежение к истории своего рода приводят Евгения к утрате чувства собственного достоинства и ощущению заброшенности. А в одиночестве зреет гордыня, порождающая обиду (“дичится знатных”).

Обижает героя именно то, чем, по мысли Пушкина, он должен был бы гордиться. И чем, как известно, гордился сам поэт. А именно: “…*что трудом Он должен был себе доставить И независимость и честь…*”. Все исследователи поэмы (и даже Тархов) называют героя “несчастным петербуржцем”. Однако в чем же его “несчастие”? У Евгения есть все, о чем может мечтать человек – крыша над головой, молодость и здоровье: он “*трудиться целый день готов…*”. А главное – он любит и любим. Но, подобно подростку, недовольному своими родителями, герой предъявляет претензии Богу, полагая, “*что мог бы Бог ему прибавить Ума и денег. Что ведь есть Такие праздные счастливцы, Ума недальнего ленивцы, Которым жизнь куда легка!”*. В этом “ропоте на Бога” слышится голос другого пушкинского героя – Сальери. У Сальери – Моцарт “гуляка праздный”, а у Евгения – все окружающие “праздные счастливцы”.

Мечтательность – этот “дар и соблазн” русского человека, по словам философа И. Ильина, – лишает героя сил. Евгений слышит, “*что погода Не унималась; что река Все прибывала…*”. Он знает, что “домик” его возлюбленной “*Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива*…”, но вместо того, чтобы спасать своих близких, он *“размечтался, как поэт”*. Пушкин не скрывает своей иронии по поводу инфантилизма героя, который, как капризный ребенок, “…*желал, Чтоб ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито…”*.

Проводя параллели с “Книгой Иова”, нельзя не вспомнить о том, как понимается в ней милость Бога: “*Бог говорит один раз и во второй раз, коль не внемлешь, во сне, в видениях ночных, когда падет на человека забытье… Вот тогда Он отверзает мужам слух, внушенье Свое напечатляет им, чтобы человека от замысла его отвратить и отвеять от мужа гордыню его, чтобы от бездны душу его отвести и жизнь его от острия меча*…”. В произведениях Пушкина есть этот мотив – голос Провидения. Пророческий сон подсказывает Григорию Отрепьеву финал его честолюбивых замыслов: “…*И, падая стремглав…*”. “Страшный, непонятный сон” Татьяны оказался пророческим не только для нее, но и для России: с нами все случилось наяву, – скажет об этом сне Ахматова, – и особенно нож, с которого капала кровь. Но герои Пушкина – люди “новейшего времени”. Они отвергают интуицию, как “предрассудок”: “все предрассудки истребя”, – скажет Пушкин о своих современниках в “Евгении Онегине”. Отвергает предупреждение судьбы и герой “Медного всадника”: “…*долго он заснуть не мог В волненьи разных размышлений… И грустно было Ему в ту ночь*…”. Но герой, повторяем, “мечтал”… Мечтал о том, чему уже никогда не будет суждено сбыться: “… *Параше Препоручу семейство наше И воспитание ребят… И станем жить – и так до гроба Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят…*”. Мечты успокоили героя и увели его от реальности. Герой предал свою любовь, и ничто из его мечтаний не сбудется. Наступает расплата, героя охватывает страх. Однако гордыня мешает ему признать себя виноватым.

И тогда, как и другим героям Пушкина, ум подбрасывает ему оправдание. Это не он трус – это Бог не спас его близких. И он отвергает Бога: “*Или во сне Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей*?”. Бунт Евгения схож с бунтом Сальери, который также отказывается от Бога: “*Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше”*. Оба бунта – уловка отчаявшегося человека, попытка избавиться от мучительного чувства вины, попытка оправдать себя, во что бы то ни стало. Человек не может жить, писал М. Мамардашвили, без “ощущения собственной правоты”, оно *“одно из самых ослепительных и иллюзорных человеческих состояний…”,* это *“сохранение образа самого себя мешает человеку остановиться в страдании и… впустить в себя истину”* (“Лекции о Прусте (Психологическая топология души)”, М.,1995). Отказавшись от истины, Евгений, как и Германн в “Пиковой даме, “окаменел”: “*И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может*!..”.

Пушкин более всего опасался именно этого. Завершая шестую главу “Евгения Онегина”, он заклинает свою Музу: “*Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь И наконец окаменеть…*”.

Пушкин, как христианин, верил, что человека может спасти покаяние. “Впустить в сознание истину” – значит осознать собственную вину. Не роптать на Бога, на судьбу, на историю, на окружающих. Об этом все поздние стихи поэта, начиная с “Воспоминания” (1828) и кончая переложением покаянной “Молитвы Ефрема Сирина” – “Отцы пустынники и жены непорочны…” (1836)*.* Иов после всех испытаний, выпавших на его долю, причем, поистине безо всякой вины с его стороны, не возроптал, но смирился: *“Вот я ничтожен: что отвечу Тебе? Руку мою кладу на уста мои! Однажды говорил я – не возражу вновь, даже и дважды – не буду впредь!”*.

Но Евгений в финале поэмы вновь предъявляет претензии, теперь уже не Богу, а “кумиру на бронзовом коне”: “*Добро, строитель чудотворный! – Шепнул он, злобно задрожав, – Ужо тебе!...”*. Тархову “сверхчеловечески-грозное величие погони Всадника напоминает явление “Бога в буре” в “Книге Иова””. Но ведь “Всадник” – памятник, “кумир”. Исследователь забывает, что Пушкин, как замечает Р. Якобсон, “вырос в мире православных обычаев” и “творчество Пушкина (как и Блока, и Маяковского) насыщено символикой ортодоксальной церкви. И потому статуя прочно ассоциировалась с идолопоклонничеством, с сатанинством, с колдовством (вспомним слова поэта о герое – “как будто околдован”)… Ожившая статуя у Пушкина является орудием злой магии, она несет разрушение” (Статья “Статуя в поэтической мифологии Пушкина” из книги Р. Якобсона “Работы по поэтике”, М., 1987). О том, что конь задуман как инфернальный персонаж, свидетельствует и первая беловая рукопись. Там Пушкин откровенно пишет: “*А в звере сем какой огонь*!”. Поэтому уподобление памятника “Богу в буре” не только не правомерно, но и кощунственно, тем более что Пушкин прямо называет его “кумиром”. “Кумир на бронзовом коне” – это “вторая природа”, дело рук человека, который сотворил идола из мира подмененных ценностей. А теперь еще и угрожает им же сотворенному идолу.

Страх перед идолом заставляет Евгения смириться: “*И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице изображалось Смятенье…”,* он *“Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой…”*. Смирение Евгения Тархов оценивает как раскаяние: “*Смиряющий муку сердца*, – пишет он, – *снимающий колпак перед “Строителем чудотворным” несчастный петербуржец – это Евгений, признающий в Основателе Петербурга волю высшего закона*”. Но Евгений “смиряется” даже не перед “Основателем Петербурга”, а перед “зверем”. В портрете героя, нарисованном Пушкиным, – “смятенье”, “мука”, “смущенные глаза”. Подобное состояние, говорил Иоанн Кронштадский, *“от дьявола происходит, ибо он есть вечное беспокойство и томление. Господь есть покой сердца”.*

Пушкин сострадает “падшим”. Но, сострадая, не может (и не хочет) скрыть правду ни от себя, ни от тех, к кому эта правда обращена – от русского дворянства, которое, как он полагал, должно стать опорой страны, а для этого необходимо “впустить”, наконец, в свое “сознание истину” и, перестав искать виноватых в истории и окружающих, осознать свою ответственность перед историей и государством. Вот почему историю Евгения Пушкин предваряет историей Петра. Как и всякий русский, Петр – мечтатель, но он тот редкий для России мечтатель, который свои мечты сумел воплотить в жизнь. И, создавая поэтический памятник делу Петра, Пушкин поет хвалу не самодержцу, к которому у него, как известно, было немало претензий, но человеку слова и дела. Петр славно послужил России. И суд над Петром – дело Бога, а не человека. И он призывает и стихию, и современников, и потомков *“не* *… тревожить вечный сон Петра*”. И не искать виновных в истории.